



Тэффи

Явдоха

А. Д. Нюренбергу¹

В воскресенье Трифон, мельников работник, едучи из села, завернул в лощину к Явдохиной хатке, отдал старухе письмо.

— От сына з вармии.

Старуха, тощая, длинная, спина дугой, стояла, глаза выпучила и моргала, а письмо не брала.

— А може, и не мне?

— Почтарь казал — Явдохе Лесниковой. Бери. От сына з вармии.

Тогда старуха взяла и долго переворачивала письмо и ощупывала шершавыми пальцами с обломанными ногтями.

— А ты почитай, може, и не мне.

Трифон тоже пощупал письмо и опять отдал его.

— Та ж я неграмотный. У село пойдешь, у селе прочтут.

Так и уехал.

Явдоха постояла еще около хатки, поморгала.

Хатка была маленькая, вросла в землю до самого оконца с радужными стеклами-осколышками. А старуха — длинная, не по хатке старуха, оттого, видно, судьба и пригнула ей спину — не оставаться же на улице.

Поморгала Явдоха, влезла в хатку и заткнула письмо за черный образ.

Потом пошла к кабану.

Кабан жил в дырявой пуньке², прилепившейся к хатке, так что ночью Явдоха всегда слышала, когда кабан чесал бок о стенку.

И думала любовно:

«Чешись, чешись! Вот слопают тебя на Божье нарощенье³, так уж тогда не почешешься».

И во имя кабана подымалась она утром, напяливала на левую руку толстую холщовую рукавицу и жала старым, истонченным в нитку серпом крепкую волокнистую крапиву, что росла при дороге.

Днем пасла кабана в лощине, вечером загоняла в пуньку и громко ругала, как настоящая баба, у которой настоящее, налаженное хозяйство и все, слава богу, как следует.

Сына не видала давно. Сын работал в городе, далеко. Теперь вот письмо прислал «з вармии». Значит, забрали, значит, на войне. Значит, денег к празднику не пришлет. Значит, хлеба не будет.

Пошла Явдоха к кабану, поморгала и сказала:

— Сын у меня, Панас. Прислал письмо з вармии.

После этого стало ей спокойнее. Но с вечера долго не спалось, а под утро загудела дорога тяжелыми шагами.

Встала старуха, посмотрела в щелку — идут солдаты — много-много, серые, тихие, молчат. «Куда? что? чего молчат? чего тихие?..»

Жутко стало. Легла, с головой накрылась, а как солнце встало, собралась в село.

Вышла, длинная, тощая, посмотрела кругом, поморгала. Вот здесь ночью солдаты шли. Вся дорога липкая, вязкая, была словно ступой истолочена, и трава придорожная к земле прибита.

«Подыптали кабанову крапивку. Усе подыптали!»

Пошла. Месила грязь тощими ногами и деревянной клюкой восемь верст.

На селе праздник был: плели девки венок для кривой Ганки, просватанной за Никанора, Хроменкова сына. Сам Никанор на войну шел, а старикам Хроменкам работница в дом нужна. Убьют Никанора, тогда уж работницы не найти. Вот и плетут девки кривой Ганке венок.

В хате у Ганки душно. Пахнет кислым хлебом и кислой овчиной.

Девки тесно уселись на лавке вокруг стола, красные, потные, безбровые, вертят, перебирают тряпочные цветы и ленты и орут дико, во всю мочь здорового рабочего тела, гукающую песню.

Лица у них свирепые, ноздри раздутые, поют, словно работу работают. А песня полевая, раздольная, с поля на поле, далеко слышная. Здесь сбита, смята в тесной хате, гудит, бьется о малюсенькие, заплывшие глиной окошки, и нет ей выхода. А столпившиеся вокруг бабы и парни только щурятся, будто им ветер в глаза дует.

— Гой! Гэй! Го-о-о! Гой! Гай! Го-о-о!

Ревут басом, и какие бы слова ни выговаривали, все выходит будто «гой-гэй-го-о-о!». Уж очень гудят.

Потискалась Явдоха в дверях. Какая-то баба обернулась на нее.

— У меня сын Панас, — сказала Явдоха. — Сын письмо прислал з вармии.

Баба ничего не ответила, а может, и не слыхала: уж очень девки гудели.

Явдоха стала ждать. Примостилась в уголочке.

Вдруг девки замолчали — сразу, точно подавились, и у самых дверей заскрипела простуженным петухом скрипка и за ней, спеша и догоняя, заскакал бубен. Толпа оттиснулась к двери, а на середину хаты вышли две девки, плоскогрудые, с выпяченными животами, в прямых, не суживающихся к талии, корсетах. Обнялись и пошли, притоптывая и подпрыгивая, словно спотыкаясь. Обошли круг два раза.

Раздвинув толпу, вышел парень, откинул масляные пряди светлых волос, присел и пошел кругом, то вытягивая, то загребая корявыми лапотными ногами. Будто не плясал, а просто неуклюже и жалко полз калека-урод, который и рад бы встать, да не может.

Обошел круг, выпрямился и втиснулся в толпу. И вдруг запросили все:

— Бабка Сахфея, поскачи! Бабка Сахфея, поскачи!

Небольшая старушонка в теплом платке, повязанном чалмой, сердито отмахивалась, трясла головой — ни за что не пойдет.

— И чего они к старой лезут? — удивлялись те, что не знали.

А те, что знали, кричали:

— Бабка Сахфея, поскачи!

И вдруг бабка сморщилась, засмеялась, повернулась к образу.

— Ну ладно. Дайте у иконы попроситься.

Перекрестилась, низко-низко иконе поклонилась и сказала три раза:

— Прости меня, Боже, прости меня, Боже, прости меня, Боже!

Повернулась, усмехнулась:

— Замолила грех.

Да и было что замаливать! Как подбоченилась, как подмигнула, как головой вздернула, и-их!

Выскочил долговязый парень, закределял лапотными ногами. Да на него никто и не смотрит. На Сахфею смотрят. Вот сейчас и не пляшет она, а только стоит, ждет своей череды, ждет, пока парень до нее допрыгнет. Пляшет-то, значит, парень, а она только ждет, а вся пляска в ней, а не в нем. Он кренделяет лапотными ногами, а у ней каждая жилка живет, каждая косточка играет, каждая кровинка переливается. На него и смотреть не надо — только на нее. А вот дошел черед — повернулась, взметнулась и пошла — и-их!

Знала старуха, что делала, как перед иконой «прощалась». Уж за такой грех строго на том свете спросится.

А Явдоха сидела в уголку затиснутая, ничего ей видно не было, да и не нужно видеть, чего там!

Отдохнула, пробралась в сенцы.

В сенцах стоял жених Никифор и дразнил щепкой собаку.

— Никифор! Ты, може, грамотный. От мне сын Панас з вармии письмо прислал.

Жених помялся немного — не хотелось прерывать интересное дело. Помялся, бросил щепку, взял старухино письмо. Надорвал уголок, взглянул глазом, потом осторожно засунул палец и разорвал конверт.

— Это действительно письмо. Слушай, что ли: «Тетеньке Явдокии низко кланяюсь и от Господа здоровья. Мы все идем походом, все идем, очень устали. Но не очень. Сын ваш Апанасий приказал долго жить. Может быть, он ранен, но ты не надейся, потому что он приказал долго жить. Известный вам Филипп Мельников». Все.

— Пилип? — переспросила старуха.

— Пилип.

Потом подумала и опять спросила:

— Ранен-то кто? Пилип?

— А кто его знает. Может, и Пилип. Где там разберешь. Народу много набили. Война.

— Война, — соглашалась старуха, — А може, ты еще считаешь?

— Теперь нема часу. Приходи в воскресенье, опять почитаю.

— Ин приду. Приду в воскресенье.

Спрятала письмо за пазуху, сунула нос в избу.

— Ну чаво? — отстранил ее локтем парень, тот самый, что плясал, как урод-калека. — Чаво?

— От сынка, от Панаса, письмо у меня с вармии. Пилип Мельников чи ранен, чи не ранен. Народу много набили. Война.

А вечером подходила к своей хатке, скользя по расшлепанной слизкой дороге и думала две думы — печальную и спокойную.

Печальная была:

«Подыптали кабанову крапивку».

А спокойная:

«Прислал Панас письмо, пришлет и денег. Пришлет денег, куплю хлеба».

А больше ничего не было.

